

Evgeny Vodolazkin



Previously unknown to readers of fiction, Vodolazkin was catapulted to prominence by his debut novel *Solovyov and Larionov*, which was not only very popular with readers, but was also rewarded with a place on the shortlist for both the Andrei Bely Prize (2009) and the Big Book Award (2010).

Prior to this, Vodolazkin was best known within his academic field of Old Russian literature - a subject on which he is an internationally recognised expert, with degrees from Kiev (the city of his birth), St. Petersburg and Munich universities, and numerous publications to his name. Although he shuns the label 'professorial' for his fiction, Vodolazkin's novel plays with the tools of literary criticism: *Solovyov and Larionov* are, respectively, a historian and the former White Army General making a life in the Soviet Union (much like Vodolazkin's great-grandfather, to whom the book is dedicated), whose diaries *Solovyov* researches and analyzes.

Vodolazkin, who is now a regular contributor to newspapers and magazines, is currently working on a novel drawing on his knowledge of Old Russia which will shun the cliches of historical fiction in favour of capturing the spirit and power of the ancient texts that he knows so well.

1. Евгений Водолазкин, *Соловьев и Ларионов*

Synopsis

In the life of every general there is always a secret. When he moves on to the next world, he leaves this mystery to future historians. When the time comes, a certain historian will get down to business: he does his research in the archives and gathers testimonies. He tracks down the general's descendants, searches for his papers and even meets with other historians. Distracted by his search, the historian does not realise that the field he is researching has become a mine field. It becomes clear that the historian's life, like that of the general, is full of danger. Because in any research he does he is studying the thing he knows the least: himself. The novel presents academic life in its most varied forms, some of which are truly surprising.

Extract

2, 167 words

Соловьев и Ларионов

Роман-исследование

Он родился на станции с неброским названием *715-й километр*. Несмотря на трехзначную цифру, станция бывавесьма небольшой. Там не было ни кино, ни почты, нидаже школы. Там не было ничего, кроме шести деревянных домов, стоявших вдоль железнодорожного полотна. Достигнув 16 лет, он покинул эту станцию. Он уехал в Петербург, поступил в университет и стал изучать историю. Учитывая полученную им при рождении фамилию – Соловьев, - этого следовало ожидать.

Профессор Никольский, университетский руководитель Соловьева, назвал его типичным *self made man*, пришедшим в столицу с рыбным обозом, но это было, конечно же, шуткой. Еще задолго до приезда Соловьева (1991 г.) Петербург перестал быть столицей, а на станции *715-й километр* никогда не было рыбы. К великому сожалению подростка Соловьева, там не было ни реки, ни, по крайней мере, пруда. Читая одну за другой книги о морских путешествиях, будущий историк проклял свое внутриконтинентальное существование и решил провести остаток дней, к тому времени еще немалый, на границе суши и моря. Наряду со

стремлением к знаниям, тяга к большой воде определила его выбор в пользу Петербурга. Иными словами, фраза о рыбном обозе так и осталась бы шуткой, если бы не акцент на преодолении изначальных обстоятельств, так изящно поставленный английским выражением. Как ни крути, историк Соловьев был самым настоящим *self made man*.

Другое дело — генерал Ларионов (1882—1976). Он появился на свет в Петербурге, в семье потомственных офицеров. В этой семье офицерами были все — за исключением отца будущего генерала, который служил директором департамента железных дорог. Ребенком Ларионову посчастливилось увидеть даже своего прадеда (в этой семье имели вкус к долгожительству), естественно — генерала, высокого прямого старика, потерявшего ногу еще в Бородинском сражении.

Любое движение прадеда, даже самый стук его деревяшки о паркет, в глазах малолетнего Ларионова было исполнено особого достоинства. Незаметно для других ребенок любил подогнуть правую ногу, пересечь залу на левой ноге и, поларионовски забросив руки на спинку дивана, откинуться на нее с глубоким вздохом. Дед Ларионова да и его пышноусые дядя были, вообще говоря, не хуже прадеда, но ни бравый их офицерский вид, ни умение красиво выражаться (прадед был молчун) не могли идти ни в какое сравнение с отсутствием ноги.

Единственным, что примиряло ребенка с его двуногими родственниками, было обилие медалей. Больше всего ему нравилась медаль *За усмирение польского бунта*, полученная одним из дядьев. Дитя, не имевшее ни малейшего представления о поляках, было заворожено самой мелодикой словосочетания. Ввиду явного влечения ребенка к медалям, дядя ему в конце концов ее подарил. Эта медаль — в купе с медалью *За покорение Шипки*, полученной им от другого дяди, — была носима мальчиком вплоть до семилетнего возраста. Слово *Шипка* сильно проигрывало слову *бунт* по части звучности, но красота самой медали восполняла ее фонетические недостатки. Не было для ребенка минут счастливее, чем те, что провел он, сидя среди своих родственников-офицеров с двумя медалями на груди.

Это были еще *прежние* русские офицеры. Они умели пользоваться столовыми приборами (включая позабытый ныне рыбный нож), непринужденно целовали ручки дамам и проделывали массу разных вещей, недоступных офицерам позднейшей эпохи. Генералу Ларионову не нужно было преодолевать обстоятельства. Как раз наоборот: ему надлежало только впитывать, наполняться до краев качествами своей среды. Что он, собственно, и сделал.

Генеральское начало проявлялось в нем с раннего детства, с того самого времени, когда, едва начав ходить, ровными рядами он выстраивал на паркете деревянных гусар. Видя его за таким занятием, присутствующие произносили единственно

возможное словосочетание: генерал Ларионов. Вдумайтесь, как естественно соединение этих двухслов, они созданы друг для друга, они произносятся безпаузы и, перетекая одно в другое, становятся единым целым, как единым целым становятся в бою всадник и еголошадь: генерал Ларионов. Это было его первым и единственным домашним именем, к которому он привык сразу и навсегда. Генерал Ларионов. Заслышав это обращение, дитя вставало и молча отдавало честь. Говорить оно выучилось лишь к трем с половиной годам.

Что, спрашивается, соединило две столь непохожие личности, как историк Соловьев и генерал Ларионов, если позволительно, конечно, говорить о соединении молодого, цветущего исследователя и утомленного сражениями полководца, ушедшего к тому же в мир иной? Ответ лежит на поверхности: историк Соловьев изучал деятельность генерала Ларионова. Окончив Петербургский университет, он поступил в аспирантуру Института русской истории. В этом-то институте генерал Ларионов стал его диссертационной темой. Не приходится сомневаться, что к 1996 году — а именно о нем идет речь — генерал Ларионов уже всецело принадлежал русской истории.¹

Разумеется, Соловьев не был первым, кто занялся изучением биографии знаменитого генерала. В разное время появилось десятка два научных статей, посвященных разным этапам его жизни, а главное — связанным с ним тайнам, так до сих пор и не разгаданным. Это немалое, на первый взгляд, число работ кажется совершенно недостаточным на фоне того интереса, который генерал Ларионов всегда вызывал и в России, и за рубежом. Неслучайным представляется то обстоятельство, что количество научных исследований значительно меньше числа романов, фильмов, пьес и т.д., в которых генерал предстает либо как действующее лицо, либо как прототип героя. Такое положение вещей как бы символизирует преобладание мифологии над положительным знанием во всем, что касается покойного.

Более того, как показал критический анализ французской исследовательницы Амели Дюпон, мифология проникла даже в научные статьи о полководце. Потому для всякого, кто впервые приступает к данной теме, поле исследования становится до определенной степени минным полем. Но даже те статьи — и об этом также пишет А. Дюпон, — в которых истина предстает во всем блеске научной аргументации, освещают столь частные проблемы и эпизоды, что значение добытой и аргументированной истины стремится к нулю. Знаменателен тот факт, что работа самой А. Дюпон (книга вышла на французском и русском языках) до сих пор является единственным монографическим исследованием, посвященным генералу Ларионову.² Этим обстоятельством лишний раз подчеркивается скудость источников по данному вопросу. Если французской исследовательнице и удалось

¹См.: Кто есть кто в русской истории. М., 2005. С. 1082—1088.

²Дюпон А. Загадка русского генерала. СПб., 1991.

собрать материал для монографии, то исключительно благодаря ее самоотверженности и особому отношению к теме, названной ею темой своей жизни.

В самом деле, А. Дюпон без преувеличения была создана для разысканий о русском полководце. В данном случае имеются в виду вовсе не внешние данные историка, над которыми научное сообщество позволяет себе подтрунивать.³ Известно ведь, что колкости и шутки за спиной крупного специалиста (в узких кругах А. Дюпон именуют *mon general*) являются обычно не более чем формой проявления зависти. Таким образом, упоминание о предназначенности А. Дюпон для указанной темы прежде всего подразумевает ее редкую настойчивость, без которой, в сущности, и невозможно было бы обнаружить те важнейшие источники, которые она впоследствии опубликовала. И, право же, недалеко от истины те, кто полагает, что появление усов, вызвавшее неадекватную реакцию в научных кругах, могло быть обусловлено в первую очередь увлеченностью исследовательницы темой. Объективности ради следует, впрочем, отметить, что сам генерал Ларионов усов не носил.

На всех сохранившихся фотографиях (см. вклейки в кн. А. Дюпон) перед нами предстает тщательно выбритый человек с коротко подстриженными и уложенными на пробор волосами. Пробор выполнен настолько ровно, а качество бритья столь безупречно, что при рассматривании фотографий невольно ощущается запах туалетной воды. Как и в большинстве других случаев, в отношении своей внешности генерал Ларионов принял единственно верное решение. В отличие от окружавших его офицеров, он не стал стилизоваться под Александра III, посчитав, что идеально правильные черты его лица не нуждаются в обрамлении. Что интересно: несмотря на эту правильность, лицо его не казалось красивым. В зрелом возрасте, особенно в старости, оно стало словно бы живее. Нередко случается, что, рассматривая фотографию человека в молодости, поражаешься вопиющей недостаточности, почти эмбриональности его вида в сравнении с тем, что пришло позже. В таких случаях испытываешь сожаление по поводу существования в жизни портретируемого и такого этапа. Разумеется, подобное чувство в высшей степени исторично. Что же касается генерала, то появившиеся с возрастом морщины под глазами и возникшая на носу горбинка сделали его лицо более рельефным. В определенный период своей жизни, лет в 35—40, этой горбинкой и выражением лица (но не чертами в целом) он напоминал кардинала Ришелье. Именно к этому периоду относится как пик деятельности генерала, так и связанные с ним тайны. Может быть, его сходство с Ришелье было сходством имеющих тайну? Как бы то ни было, со временем ушло и оно.

³ Речь, в частности, идет о росте исследовательницы (187 см) и выросших после сорока лет усах.

Даже беглый взгляд на иллюстративный материал А. Дюпон убеждает в несомненном преобладании фотографий последнего периода жизни генерала Ларионова. Специально старик не снимался, но никогда и не жеманничал, отворачиваясь от встречавших его фотокамер: он относился к ним с полнейшим равнодушием. Такое отношение придало портретам генерала редкую в данном жанре естественность. Не этой ли естественности в первую очередь стоит приписать две победы, в разное время одержанные фотопортретами генерала на международных конкурсах?

Не приходится сомневаться, что и те, кто абсолютно не знаком с деятельностью генерала и даже не слышал его имени, припомнят черно-белую фотографию старика, сидящего в складном кресле на самом краю мола (Ялта, 1964 г.). Она вошла в классику мировой фотографии, подобно паровозу, выпавшему из окна парижского вокзала, подобно маяку среди бушующих волн и т.д. Несмотря на жару летнего дня, старик сидит в белом френче. Он сидит под полупрозрачным тентом, положив ногу на ногу. Носок светлой туфли вытянут вперед, параллельно земле, и почти сливается с молом, так что кажется, будто стоящий неподалеку маяк балансирует на носке этой изысканной обуви. Взгляд старика обращен вдаль и исполнен особого внимания того, кого не интересуют вещи, лежащие ближе линии горизонта. Этот старик — генерал Ларионов. Что и говорить, в сравнении с такой фотографией все прежние снимки генерала блекнут, становятся невыразительными и в какой-то степени недостойными этого выдающегося человека. То, что в памяти потомков генерал остался в самом, так сказать, зрелом виде, можно считать его безусловной удачей. Большой удачей его жизни было, пожалуй, лишь то, что по окончании Гражданской войны его не расстреляли. Это всегда относили к области необъяснимого.

Но вот что существенно: как раз на этой загадке и решил сосредоточиться историк Соловьев. Здесь можно предвидеть возражения, является ли, дескать, историк Соловьев той фигурой, которая способна распутать сложнейший исторический клубок, и что стоит ли вообще возлагать какие-либо надежды на вчерашнего студента, да к тому же еще и *self made man*? Эти возражения не кажутся основательными. Достаточно указать — и этот факт был впервые установлен А. Дюпон⁴ — что А.П. Гайдар в 16 споловиной лет командовал полком. А что уж до *self made man*, то при широком понимании термина таковым следует считать всякого, кому удалось чего-то в жизни добиться.

⁴Стоит, впрочем, указать, что открытие француженки носит случайный характер и связано с основным предметом ее исследования: по окончании Гражданской войны, когда А.П. Гайдар стал публиковаться, генерал Ларионов неоднократно сокрушался, что в свое время не поставил его к стенке.

В отношении работы Соловьева над собой достаточно упомянуть лишь одну деталь: он сумел изменить свое южнорусское произношение на аристократическое петербургское. Разумеется, в самом по себе южнорусском произношении нет чего-либо зазорного или умаляющего достоинства его носителей (точно так же, скажем, как хромающий московский говор не способен опорочить жителей столицы). В конце концов, М.С. Горбачев перестраивал Россию как раз с южнорусским произношением. В отличие от Соловьева, Горбачев не был историком: он сам творил историю, не слишком заботясь об орфоэпической стороне дела⁵. Что же касается Соловьева, то, шепча на кухне общежития русские скороговорки, он в собственном своем представлении занимался чем-то бо́льшим, чем просто постановкой произношения: он изживал все провинциализм.

Важную роль в развитии Соловьева сыграл его научный руководитель — знаменитый профессор Никольский. Прочитав первую курсовую работу студента — она была посвящена освоению Россией Дальнего Востока, — профессор пригласил его к себе в кабинет и, ничего не говоря, долго продувал мундштук папиросы «Беломор» (к папиросам он пристрастился на одноименном канале).

Друг мой, сказал, закулив, профессор, наука скучна. Если вы не свыкнетесь с этой мыслью, вам будет нелегко заниматься. Профессор попросил Соловьева удалить из его курсовой слова *великий, победоносная и единственно возможное*. Он также спросил студента, знакома ли ему теория, согласно которой русские растратили данную им энергию, осваивая нечеловеческие в своей протяженности пространства. Теория знакома студенту не была. До ознакомления с указанной теорией проф. Никольский попросил Соловьева удалить и словосочетание *прогрессивное явление*. Особое внимание автора курсовой было обращено на оформление библиографических и аргументативных сносок. Внимательный взгляд на эту сторону работы показал, что единственной правильно оформленной сноской оказалось «Там же. С. 12».

Если быть предельно откровенным, большинство из сказанного проф. Никольским показалось Соловьеву придирками, и все-таки именно эта беседа положила начало дружбе профессора и студента. Профессор находился в том возрасте, когда его замечания уже не могли быть обидны юноше, непростая же история самого Соловьева заставляла, в свою очередь, руководителя проявлять к своему ученику больше снисходительности.

Проф. Никольский не уставал повторять своему подопечному, что красивые фразы в науке, как правило, ложны, что красота этих фраз основана на их якобы

⁵ Даже уйдя впоследствии на пенсию и обретя все возможности для самообразования, государственный деятель не нашел в себе сил отказаться ни от фриктивного «г», ни от звонких согласных в конце слова.

универсальности и отсутствии исключений. Но, — папироса в руке профессора описывала дымящийся эллипс, — этоотсутствие — мнимое. Исчерпывающих истин не бывает(почти не бывает, поправлялся профессор, приводя высказывание в соответствие с собственной теорией). Накаждое *a* всегда найдется и *b*, и *c*, и что-то такое, что непередается уже никакими буквами. Честный исследователь все это учитывает, но его заявления перестают бытькрасивыми. Так говорил проф. Никольский.

Голубоглазый романтизм Соловьева в какой-то момент сменился подчеркнутой склонностью к точности, изто было время открытия им особой красоты — красотыдостоверного знания. Это было время, когда работы юноши запестрели огромным количеством исчерпывающих ибезукоризненно оформленных сносок⁶. Он ставил сноскуза сноской и удивлялся, как ему удавалось обходиться безних в начале его научной карьеры. Когда сноски стали сопровождать едва ли не каждое сказанное им слово, проф.Никольский был вынужден его остановить. Он сообщилему между прочим, что в конце карьеры ученые такжеобычно обходятся без сносок. Молодой исследовательпочувствовал себя обескураженным.

⁶Сноски стали для него не просто поводом выразить уважение к предшественникам. Они открыли ему, что нет ни одной области знаний, гдеон, Соловьев, был бы первым, и что наука — процесс в высшей степенипреемственный. Они были представителями великого всеобъемлющего знания. Они следили за Соловьевым и воспитывали его, заставляя избавляться от приблизительных и неверных утверждений. Они взорвали его гладкое школьное изложение, поскольку текст, как и бытие, не может существовать без оговорок.